

Свое первое стихотворение я написала почти сразу, научившись собственно писать вообще, то есть в суровые пять лет. Какие-то стишки я сочиняла все детство. Это было как-то очень естественно, почти неизбежно. В школе я своей пагубной страсти не афишировала, но и не скрывала особо. Все детство меня гоняли по всем олимпиадам подряд, невзирая на то, что способности мои в общем-то ограничивались гуманитарными предметами. Однажды на городской олимпиаде по химии я позорнейшим образом не смогла решить ни одного задания. Сдать чистый листок мне показалось очень невежливым, и я написала некое невротическое стихотворение. Естественно, ожидала, что через пару дней мне устроят выволочку за этот странный поступок, но вышло не так. Через пару дней я обнаружила свой опус на первой странице городской газеты «Горняк». Газета, получив некоторое количество одобрительных откликов на публикацию, затребовала у меня еще стихов. Поэтический кружок города опять же затребовал меня к себе в члены с обязательной

явкой на еженедельные собрания. Как-то так вышло, что меня вынудили наладить потоковое производство стихов по соцзаказу. Кроме соцзаказа, между тринадцатью и четырнадцатью годами я писала, как мне сейчас кажется, очень хорошие стихи. Они были очень честные и довольно самобытные. Ну и как-то так вышло со временем, что соцзаказ мой победил все остальное. Мэрия города выпустила скромную, но все же — партию сборников моих стихиков. В этот момент я поняла, что от одной мысли о стихах я чувствую физическую тошноту, и на несколько лет затянулось моё молчание, хотя я пыталась попробовать писать снова — уже далеко позади была школа и маленький шахтерский городок, и не было никого ничего, кто бы требовал у меня стихов — кроме моей внутренней памяти — но нет, ничего не складывалось. И как ни странно — однажды из скалы хлынул ручей. Это вышло почти случайно — пара очень тяжелых, очень болезненных событий произошло в моей жизни, одно за другим — и в какой-то момент, когда у меня уже не оставалось слез, чтобы плакать, я стала плакать стихами.

Сейчас я пишу стихи так редко и так мало, что с математической точки зрения практически вообще не пишу, и публикую их только в скромном своем блоге, где они набирают по три-четыре комментария.. Я сторонюсь и опасаясь любой окололитературной тусовки, любых поэтических сообществ — и для меня загадка, что мои стихи известны людям, которые незнакомы со мной и что страннее всего — что кто-то считает, что они заслуживают печати.

И ты, вероятно, спросишь: какого лешего?
А я ответчу пафосно: было нужно.
Ну, в общем, кажется, звали его Иешуа,
Мы пили красное поздней ночью из чайных кружек.

И он как-то очень свежо рассуждал о политике
И все твердил: мол, нужна любовь и не надо власти.
И вдруг сказал: "Ты уж не сочти меня нытиком,
Но я устал, понимаешь, устал ужасно.

Стигматы ноют от любых перемен погоды,
И эти ветки терновые к черту изгрызли лоб.
Или вот знаешь, летом полезешь в воду,
И по привычке опять по воде - шлеп-шлеп...

Ну что такое, ей-богу, разнылся сдуру.

Что ж я несу какою-то ерунду?!

... Я просто... не понимаю, за что я умер?

За то, чтобы яйца красили раз в году?

О чем я там, на горе, битый день долдонил?

А, что там, без толку, голос вот только сорвал.

Я, знаешь ли, чертов сеятель - вышел в поле,

Да не заметил сослепу - там асфальт.

И видишь ведь, ничего не спас, не исправил,

А просто так, как дурак, повисел на кресте.

Какой, скажи, сумасшедший мне врач поставил

Неизлечимо-смертельный диагноз - любить людей?"

Он сел, обхватив по-детски руками колени,

И я его гладила по спутанным волосам.

Мой сероглазый мальчик, ни первый ты, ни последний,

Кто так вот, на тернии грудью, вдруг понял сам,

Что не спросил, на крест взбираясь, а надо ли?

(У сероглазых мальчиков, видимо, это в крови).

... А город спит, обернувшись ночной прохладой,

И ты один - по колено в своей любви.

Какая безмерная радость - тебя беречь,

Делить вечера, изучать твоих вен узоры,

Упругими пальцами тяжесть снимая с плеч,

Взъерошивать волосы. Чувствовать - скоро, скоро...

Я скоро, так скоро не буду тебе нужна,

И нежность мою ты змеиною кожей сбросишь.

Ты станешь еще прекраснее, мне же - была дана

Бесценная радость встречи. Чего же больше?

Пока - я смотрю в бесконечность твоих зрачков

И руки твои согреваю вечерним чаем.

Я знаю - ты скоро забудешь меня. Легко.

Заранее знаю. Заранее все прощаю.

Ночами, сжимая руки, не зная сна,

Прошу у неведомой, но всемогущей силы -

Пускай тебя сможет однажды любить она

Стократно сильнее, чем я бы тебя любила.

Бывают, кто избран, и вечно бывают - вторые.
 Бывают, кто зван, а бывают и те, кто не очень.
 Покуда Спаситель беседует с нежной Марией,
 Я - вечная Марфа, что вечно о чем-то хлопочет.

Сажает цветы или варит ячменное пиво,
 Стирает хитоны и штопает старые тоги...
 Я вечно, как мышка, повсюду мечусь торопливо.
 Я знаю, что мне успеть к подведению итогов.

Я знаю - однажды умру и сама не замечу,
 Так падают наземь цветы от палящего зноя.
 И пусть мне закрыта дорога в небесную вечность -
 Я все же взойду над землей - виноградной лозою.

Я стану вином, напою полководцев и нищих,
 Я кровь подогрею поэтам и юным влюбленным,
 Для птиц перелетных я стану и кровом, и пищей,
 Покрепче корнями сплетусь с резедой и паслёном...

...Соседи смеются: "Ты, Марфа, о многом печешься,
 Эх, знать, не видать тебе, Марфа, загробного рая!"
 Пускай говорят. Я сажаю цветы вдоль дороги.
 Я знаю движенье. А смерти... а смерти не знаю.

Давай с тобой завертываться в снег, как в плед, как в палантин, как в плащаницу, давай сегодня плакать и молиться, давай следами ляжем в мягкий снег. Давай откроем окна - и дышать! - пускай мороз вопьется в нашу кожу, давай ступать легко и осторожно - вдруг там, под снегом, чья-нибудь душа? Давай не размыкать сегодня рук, как будто это все, что можно сделать, как будто в тело впаивая тело, - послушай! снег - внутри или вокруг? Послушай, как колотится в груди, и между ребер - все полней и шире, и даже время в воздухе застыло, и только снег - летит, летит, летит. И мы с тобой в объятиях зимы - беспечны и беспомощны, как дети, и нет ни гнева, ни тоски, ни смерти, а только снег. Он вечен, как и мы.

Понимаешь, любовь - не пламя, любовь - это свет
круглого абажура на кухне вечером в пятницу,
когда время тянется
куда-то из прошлого в будущее
уютно, медленно, осторожно, как нитка из шерстяного
клубка.
есть еще время - пока
зима далека,
зима почти невозможна,
и все же
мороз по коже
от мерцающей тишины, насквозь пронизанной запахами.
Горячий чай по чашкам
ромашковый,
беру со стола Довлатова. кажется, "Наши",
начинаю читать наугад - про фокстерьера Глашу,
похожую на березовую чурочку,
и летучий мальчишеский смех,
чуточку
слишком громкий для позднего вечера и пожилых соседей,
самый удивительный звук на свете,
взлетает, звенит, щекотится, отскакивает от стен мячиком.
дорогие, драгоценные мои мальчишки...
и я прошу: Боже, Боже, Боже,
Боже, Боже, пожалуйста, сохрани мне мой маленький мир

-

Нет, Господи, дай мне сил сохранить его,
дай мне сил выстоять против боли, против зла, против
горя,
дай мне сил защитить мой маленький дом от ветров и
дождей,
от зверей и людей,
дай мне уберечь любимых моих от потерь,
дай мне сил терпеть за них, страдать за них, болеть за них,
дай мне сил сделать все. чтобы не затих
этот звонкий свет,
не погас этот теплый свет.
У меня больше ничего нет, Господи,
кроме этого мира вокруг кухонного абажура.
Вот такая я, Господи, дура.

Дай мне сил с каждым днем, с каждым годом любить сильнее.

Дай мне сил, Боже, любить их так, как больше никто не сумеет...

Густая осенняя полночь.

Дочитываю до точки,
мою чашки, выключаю свет,
обнимаю, целую в щечку.

"Завтра обязательно будет солнечно,

Я обещаю.

Спокойной ночи."

*А иногда едешь в метро, посмотришь кругом и заплачешь: огни ангельские лица. Правда, редко.
Людмила Улицка. «Люди нашего царя»*

Я села с ней рядом, вошла в вагон на Площади Ильича

И сразу подумала - это не девушка, это свеча.

Белое - белоснежное - нежное - лицо, как тающий воск,

Белый свет вокруг невесомых, как сон, волос.

Она читала псалмы, улыбаясь так, как будто ее не видит никто

И тонко, почти прозрачно ладаном пахло ее пальто.

И я бы рада сказать, что придумала ее только что,

Но так оно все и было, и мне с этим жить теперь.

А шарф на ней был зеленее, чем сам апрель.

А эти двое сидели напротив, его пальцы жадно сжимала ее рука,

Он левой ногой отбивал лениво что-то там плееру в такт.

И белее и тоньше вербовой веточки было ее лицо,

А он был красив особенной красотой законченных подбородков.

И когда из ее озерного глаза одиноко, необъяснимо выкатилась слеза,

Он не коснулся ее губами, не обернулся, ничего не сказал.

И я бы рада сказать, что они -

Выверт моей чересчур патетичной души,

Но так оно все им было, и с ними мне тоже жить.

Я опускаю ресницы со звоном, как будто забрало.

Я пытаюсь спастись от людей,

я все думаю - где,

где эта девочка,

та, что субботней ночью неслышно входил а в храм,
до утра
ждала
неизбежного чуда,
откуда
был голос, который ее позвал?
И храм был не храм - подвал,
цементные стены, иконы в бумажных цветах...
Где та,
которая истово, жадно молилась
за всех знакомых, любимых, чужих, ненужных,
все туже, все крепче сжимая руки -
так, что к утру уже не было сил ни на что,
только слушать
сияющий звон, поднимавшийся паром от земли кукурузных полей
(и тюльпаны, тюльпаны на алтаре!).
Напоследок - в слезах - целовала своей свечой пламя чужих свечей.
Боже, боже. Теперь-то я плачу реже, но отчего-то горше и горячей.

И я бы рада сказать - это просто слова,
от слов избавляются - карандашом по бумаге скрипя,
но - такая ботва -
никак не избавиться от себя.